
Предисловие

ТОЛСТОЙ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Прежде чем взяться за эту книгу, я написал три книги о Толстом. Они вышли в разное время (2010, 2013 и 2015 годы), переиздаются до сих пор и представляют собой своеобразную трилогию.

Первая книга — «Лев Толстой: Бегство из рая» — рассказывает об уходе писателя из Ясной Поляны, обстоятельствах его последнего путешествия и смерти в Астапове, а также о том, что было причиной этого ухода, какие моменты в жизни Толстого предвляли и предсказывали это событие.

Вторая книга — «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды» — посвящена проблеме «Толстой и Церковь». Почему случился этот трагический конфликт, что означало знаменитое «отлучение» и что на самом деле являла собой «религия Толстого»?

Третья книга — «Лев в тени Льва. История любви и ненависти» — об отношениях Толстого с его третьим сыном Львом Львовичем и со всеми своими детьми. Ведь среди мировых литературных классиков Лев Николаевич был самым многодетным отцом; жена Софья Андреевна родила ему 13 детей. Каким был Толстой-отец? Что думали и писали о нем его дети? Что это вообще значит — быть сыном человека, еще при жизни признанного гением во всём мире?

Пока я работал над этими книгами, я понял одну вроде бы очевидную, но в то же время совсем не простую вещь. Толстой — не только создатель великих произведений, от огромного романа «Война и мир» до крохотного рассказа «Нечаянно», написанного за четыре месяца до смерти. Сам Толстой — *произведение*. Его жизнь и смерть, отношения с разными людьми, близкими и дальними, — это такое же *великое произведение*, как и те, что появились из-под его пера. И это произведение он создавал *сознательно*, отдавая этому

не меньше, а даже больше сил и времени, чем литературному творчеству, философским трактатам и публицистике. И мы даже знаем год и месяц начала работы Толстого над этим произведением: март 1847 года, первые записи в дневнике. Молодому «автору» еще не исполнилось двадцати лет, а он, находясь в Казани, в университетской больнице, излагает замысел великого *произведения жизни*, на создание которого уйдет больше шестидесяти лет. С этого момента начинается ежедневная работа над черновиком, если угодно, *романа* под названием «Лев Толстой» с множеством сюжетных линий, вариантов, удач и разочарований, интриг, коллизий, драматических и трагических конфликтов, комических сцен и таких, которые не могут не вызывать катарсиса, душевного потрясения.

Возможно, именно для того, чтобы закончить это произведение не «хеппи-эндом», как «Войну и мир», где он очень разумно и правильно устроил семейную жизнь своих любимых героев Наташи и Пьера, Николая и Марии, а на трагической, надрывной ноте, которая более соответствовала XX веку, Толстой и покинул Ясную Поляну холодной осенней ночью 1910 года и скончался на станции Астапово под свист проносящихся мимо поездов.

Однажды я понял, что биографию Толстого нельзя писать просто как цепь жизненных событий и анализ художественных произведений, как пишутся обычные писательские биографии. Анализировать нужно не факты жизни Толстого и тем более не его словесные произведения (это другая, филологическая задача), а *жизненный замысел и методы его воплощения в реальность*. Но это задача, если подойти к ней со всей ответственностью, неподъемная, во всяком случае для меня. И тогда я решил написать короткое и, насколько это возможно, внятное изложение произведения под названием «Лев Толстой». Такая, можно сказать, «школьная» задача. Я надеюсь, что справился с ней и что каждый прочитавший книгу составит себе хотя бы общее представление, как Толстой *создавал свою жизнь*.

В первом издании эта книга вышла в «Молодой гвардии» в 2016 году под названием «Лев Толстой — свободный человек». Настоящее издание в серии «ЖЗЛ» дополнено библиографией, хроникой жизни и творчества Толстого, а также более обширным иллюстративным материалом.

Павел БАСИНСКИЙ
2 февраля 2017 года

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

(1828—1847)

Жизнь как насилие

Лев Николаевич Толстой родился в имении Ясная Поляна Крапивенского уезда Тульской губернии 28 августа 1828 года.

Самое раннее ощущение — желание вырваться из пеленок: «Вот первые мои воспоминания... Вот они: я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоит, нагнувшись, кто-то, я не вспомню кто. И всё это в полутьме. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. — Им кажется, что это нужно (т. е. чтоб я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собой».

Второе воспоминание — посещение «какого-то, не знаю, двоюродного брата матери, гусара князя Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени, и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться...».

Литературный дебют Толстого, повесть «Детство», тоже начинается с насилия над ребенком и... убийства. Губернер-немец Карл Иванович бьет мух над головой спящего в кровати десятилетнего Николеньки Иртеньева и задевает хлопущей образок ангела-хранителя, висящий в изголовье. Первая же убитая муха падает на лицо мальчика.

«Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятности...»

Еще Карл Иванович щекочет Николеньке пятки, чтобы окончательно разбудить.

«— Ach, lassen Sie*, Карл Иваныч! — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек».

Осязательные впечатления играли важную роль в детстве Толстого: «Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный кислый запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельце. Вероятно, это были отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельце с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, и засученные руки няни, и теплую парную сращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками...»

Но запомнилось ему и то, как экономка за пролитый на скатерть квас поймала и, несмотря на «отчаянное сопротивление», отвозила мокрой скатертью по лицу. И то, как в Вербное воскресенье гувернер за какую-то провинность отхлестал его пучком вербы. И как от этой вербы отпадали «шишечки».

Он запомнил, как «с особой нежностью» целовал «белую жилистую руку отца» и был «умиленно счастлив», когда он ласкал его. Но и то, как отец однажды ухватил его за ухо.

Общим местом стало мнение, что Толстой воспел раннее детство как райское состояние души. И это верно. Никто в литературе не написал о детстве таких возвышенных строк:

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений...»

Вернется ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная

* Ах, оставьте (нем.).

потребность любви — были единственными побуждениями к жизни? Где те горячие молитвы? Где лучший дар — те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению».

В Ясной Поляне не били детей и крайне редко подвергали телесным наказаниям крепостных. Эта традиция шла по линии обоих родов — отца и матери, Толстых и Волконских. Поднять руку на существо, которое не может или не имеет права защищаться, считалось в этих семьях позорным. Причем это было особенностью именно этих семей, а не признаком просвещенной эпохи. Отсутствие порки в воспитании ребенка было прогрессивным для того времени принципом, который соблюдался, например, в Царско-сельском лицее, где учился Пушкин. Пороть детей розгами, даже ружейными шомполами (ими лупил будущего императора Николая I его наставник генерал Ламздорф, записывая это в ежедневный журнал), считалось нормой в аристократических семьях.

Но ни в «Детстве», ни в «Воспоминаниях» Толстого вы не найдете ни одного случая, чтобы ребенка били, потому что «так нужно».

В «Воспоминаниях» Толстой пишет, что в детстве ни разу не видел, чтобы пороли крепостного. «Вероятно, — подозревает он, — эти наказания производились. В то время трудно было себе представить управление без употребления этих наказаний, но они, вероятно, были так редки, и отец так мало принимал в них участия, что нам, детям, никогда не удавалось слышать про это».

Он вспоминает, какой ужас вызвал у детей один только печальный вид помощника кучера, «кривого Кузьмы, человека женатого и уже немолодого», которого приказчик куда-то повел. «Кто-то из нас спросил Андрея Ильича, куда он идет, и он спокойно отвечал, что идет на гумно, где надо Кузьму наказывать. Не могу описать ужасного чувства, которое произвели на меня эти слова и вид доброго и унылого Кузьмы. Вечером я рассказывал это тетушке Татьяне Александровне, воспитавшей нас и ненавидевшей телесное наказание, никогда не допускавшей его для нас, а также и для крепостных там, где она могла иметь влияние. Она очень возмутилась тем, что я рассказал ей, и с упреком сказала: “Как же вы не остановили его?”».

До глубокой старости Толстой не мог забыть, как однажды его даже не высекли, а только пригрозили высесть.

Пригрозили снять штанишки и отхлестать розгами по попе — унижение вместе с болью. Неизвестно, что страшнее.

В статье 1895 года под названием «Стыдно», посвященной телесным наказаниям, Толстой обращает главное внимание не на физическую, а на нравственную сторону расправы. «Высшее правительство огромного христианского государства, 19 веков после Христа, ничего не могло придумать более полезного, умного и нравственного для противодействия нарушениям законов, как то, чтобы людей, нарушавших законы, взрослых и иногда старых людей, оголять, валить на пол и бить прутьями по задницам».

В 1837 году, когда Лёвочке было девять лет, в доме появился новый губернёр по имени Проспер Шарль Антуан Тома (в «Детстве» назван St.-Jérôme). Он приехал в Россию через Кронштадт летом 1835 года, зарегистрировался под именем Проспер Антонович, быстро научился говорить по-русски и успел послужить секретарем черниговского, полтавского и харьковского губернатора князя Василия Васильевича Левашова, будущего председателя Государственного совета. Затем он поступил старшим губернёром в дом знакомых Толстых, Милютиных, а оттуда его переманила бабушка Пелагея Николаевна — мать рано умершего отца братьев и сестры Толстых.

Одновременно от дома отказали доброму, пьющему немцу Федору Ивановичу Рёсселю (в «Детстве» назван Карлом Ивановичем Мейером). Передавая Николаю, Сергея, Дмитрия и Льва на руки французу, бедный немец, которого дети называли *дядькой*, едва сдерживал слезы и умолял: «Пожалуйста, любите и ласкайте их. Вы всё сделаете лаской». Особенно он обращал внимание на младшего, Льва. Он говорил, что у ребенка «слишком доброе сердце, с ним ничего не сделаешь страхом, а всё можно сделать через ласку». На это француз возразил: «Поверьте, mein Herr, что я сумею найти орудие, которое заставит их повиноваться».

Приглашая нового губернёра, Пелагея Николаевна тоже настаивала, чтобы в отношении мальчиков никогда не применялось физическое насилие. И он письменно обещал, что «с помощью Бога, отца сирот» обойдется без розог.

По мнению Толстого, Тома был «в высшей степени француз»: «Он был неглуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность, но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомыс-

ленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Всё это мне не нравилось».

Между Тома и Лёвой начались конфликты. Один из методов наказания, которые употреблял гувернер: ставил провинившегося на колени и заставлял просить прощения. При этом, «выпрямляя грудь и делая величественный жест рукой», он трагическим голосом кричал: «*A genoux, mauvais Sujet!**» Из всех братьев только Лёвочка противился этому. Однажды француз все-таки силой заставил его встать на колени.

Как-то у Толстых был вечер, куда пригласили детей из других семей. Но француз заявил, что Лёвочка не имеет права на общее веселье. Тот отвечал дерзостью. «*Se' bien*, — сказал он, догоняя меня, — я уже несколько раз обещал вам наказание, от которого вас хотела избавить ваша бабушка; но теперь я вижу, что, кроме розог, вас ничем не заставишь повиноваться, и нынче вы их вполне заслужили».

подавляя сопротивление мальчика, он отвел его в чулан и запер. И вот эти часы, что Лев провел в заключении, в ожидании позорного наказания, он запомнил на всю жизнь.

До розог не дошло, но память осталась.

«...я испытал ужасное чувство негодования, возмущения и отвращения не только к Thomas, но и к тому насилью, которое он хотел употребить надо мной, — вспоминал Толстой. — Едва ли этот случай не был причиною того ужаса и отвращения перед всякого рода насильем, которое испытываю всю свою жизнь».

Находясь в чулане, мальчик воображал, как он сам назовет гувернера. «И St.-Jérôme упадет на колени, будет плакать и просить прощения». Но это было слабое утешение, как он впоследствии стал понимать. Оно не избавляло от *ужаса и отвращения* перед насильем, всяким насильем.

То же самое он испытывал, когда его пеленали. «Им кажется, что это нужно (т. е. чтоб я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно». И когда режут козленка, и когда бьют солдата или крепостного, и когда запирают ребенка в чулан, все взрослые думают, что «это нужно». А Толстой с первых же проблесков сознания не думает, но твердо знает, что это «не нужно».

И потому вся так называемая взрослая жизнь Толстого — это попытка доказать людям, что это «не нужно».

* На колени, негодяй! (*фр.*).

А вся цивилизация представлялась ему тем самым гусаром, что силой держал его на коленях и говорил взрослым что-то «важное». Говорил-то он, на самом деле, невозможные глупости. А совершал при этом самое страшное из преступлений.

Насилие! Не только над ребенком, а над его душой. Рожденной свободной, для неперестающей радости жизни. Но зачем-то ее поставили на колени, а затем заперли в чулан. И еще обещали наказать. Там, в загробном мире. Наказать!

Волконские

Дед Толстого по материнской линии, князь Николай Сергеевич Волконский, родился в 1753 году, а скончался в 1821-м, когда его единственная дочь Мария еще не вышла замуж. Таким образом, деда Толстой не знал. Сама Мария Николаевна ушла из жизни в 1830 году, когда ее сыну не было и двух лет. Свою мать Толстой не помнил и даже не видел ее изображения, потому что она не любила позировать художникам. Сохранился лишь ее силуэт из черной бумаги, сделанный в девятилетнем возрасте.

Тем не менее Волконские оказали сильное влияние на Толстого. Влияние деда было *аристократическое*. Всё, что Толстой видел и слышал в Ясной Поляне, напоминало ему о нем: и спланированный ландшафт усадьбы, и капитальные хозяйственные постройки, и большой дом с двумя флигелями в итальянском стиле, и рассказы крестьян и дворовых о старом хозяине. Толстой гордился дедом и в молодости пытался подражать ему. В повести «Дьявол» о главном персонаже, прототипом которого был автор, говорится: «Самые обычные консерваторы это — молодые люди. Так было с Евгением. Поселившись теперь в деревне, его мечта и идеал были в том, чтобы воскресить ту форму жизни, которая была не при его отце... а при деде».

Почему-то Толстой очень любил легенду, что Волконский в молодости отказался жениться на племяннице и любовнице князя Потемкина Вареньке Энгельгардт: «С чего он взял, чтобы я женился на его б...»

В царствование Екатерины II князь Волконский стремительно поднимался по служебной лестнице. Записанный в армию семилетним мальчиком, он в 27 лет в чине капитана гвардии находился в свите Екатерины II во время ее сви-

дания с австрийским императором Иосифом II в Могилеве. Майор, полковник, бригадир, генерал-майор... В 1793 году он был назначен послом в Берлин. Затем находился при войсках в Польше и Литве.

Опала началась с воцарением Павла I, который с особой строгостью относился к офицерам, выдвинувшимся при его матери. В 1797 году, будучи шефом (покровителем) Азовского мушкетерского полка, Волконский был уволен со службы за отказ явиться на инспекторский смотр, назначенный императором. Боевой генерал (а он принимал участие во взятии Очакова) был уязвлен оказанным недоверием царя и сказался больным.

«Не думаю, однако, чтобы это очень его огорчило, — считает сын писателя Сергей Львович Толстой. — Не с ним одним так поступил Павел, а общественное мнение того общества, к которому принадлежал Волконский, было за него...»

Но через полтора года Николай Сергеевич был восстановлен императором в прежнем положении. Его назначили архангельским военным губернатором, затем произвели в генерал-аншефы, «полные генералы». В 1799 году он был уволен со службы по собственному прошению.

Николай Сергеевич Волконский, по-видимому, верно изображен своим внуком в романе «Война и мир» в образе старого князя Болконского. Да и сохранившиеся живописные портреты соответствуют этому образу. В одном из вариантов «Войны и мира» Толстой так описывает деда: «Князь был свеж для своих лет, голова его была напудрена, чистая борода синелась, гладко выбрита. Батистовое белье манжет и манишки были необыкновенной чистоты. Он держался прямо, высоко нес голову, и черные глаза из-под густых, широких бровей смотрели гордо и спокойно над загнутым сухим носом, тонкие губы были сжаты твердо...»

От деда Толстой унаследовал понятия о чести и долге, независимость суждений и вольнодумство, *внутреннюю осанку*, которая чувствовалась в нем всегда, особенно в позднем возрасте. От деда он унаследовал и свой *эстетизм*. «Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны», — подчеркивает Толстой в «Воспоминаниях». Получив в наследство Ясную Поляну и поселившись в ней после отставки, Николай Сергеевич первоочередной задачей поставил не строительство дома для удобного проживания, но переустройство усадебного ландшафта в стиле «парадиза» XVIII века. «Волконский, верный

и последовательный “вольтерьянец”, шел в ногу со временем и был охвачен усадебной лихорадкой... — пишет исследователь жизни Толстого Н. А. Никитина. — Своей страстью и энтузиазмом он преобразовывал прежний облик Ясной Поляны, придавал благородные черты ампира, так пленившие впоследствии его внука. Князь удачно вписал свой ансамбль в сложный рельеф, удачно используя элементы прежней планировки: въездную усадебную аллею “Прешпект”, Большой пруд, регулярный парк “Клины”. Дед писателя строился основательно и вдумчиво... Именно в ампире князь Волконский нашел то, что искал: простоту, порядок и красоту. Он являл собой уникальный тип людей, в котором сопрягались порядочность с тонким эстетическим чувством. В нем всё — от одежды до душевного стиля — было *à la classique*».

После смерти жены, Екатерины Дмитриевны (урожденной Трубецкой), утешением его старости стала дочь, родившаяся в 1790 году. Образ княжны Марьи в «Войне и мире» лишь отчасти соответствует своему прототипу. Верно, что она была некрасива, и потому отец, не слишком надеясь на ее замужество, воспитывал дочь «по-спартански»: ежедневные моционы, физическая культура (мать Толстого недурно играла в бильярд), занятия математикой и иностранными языками (владела французским, английским, немецким, итальянским и, что было необычно для девушек той поры, прекрасно писала по-русски).

Но есть в романе два важных несоответствия.

Если судить по «Войне и миру», отец и дочь жили в Ясной Поляне (в романе имение называется Лысые Горы) замкнуто и безвыездно. Гордый и своенравный князь Болконский любил говорить: «Ежели кому меня нужно, то тот из Москвы 150 верст доедет до Лысых Гор, а мне ничего и никого не нужно». Так считали почти все ранние биографы Толстого. Но позднейшие исследования доказали, что Волконские не были такими уж затворниками. Знаток истории толстовского рода Т. Г. Никифорова пишет: «Вопреки сложившемуся мнению (отчасти под влиянием образов старого князя Болконского и княжны Марьи в “Войне и мире”) жизнь Н. С. Волконского и его дочери отнюдь не была затворнической... Из дневника князя Дмитрия Михайловича Волконского, родного племянника Н. С. Волконского, видно, что аристократический военный круг, литературно-ученая среда, к которой принадлежал автор дневника благодаря разветвленным родственно-дружеским связям, была

и той культурно-исторической средой, в которой проходила жизнь отца и дочери Волконских».

В этот круг общения входили Сергей и Василий Львовичи Пушкины (отец и дядя великого поэта), Петр Андреевич Вяземский, Николай Михайлович Карамзин, Павел Иванович Сумароков, Иван Андреевич Крылов. Мария Николаевна была дружна с женой Дмитрия Михайловича Волконского Натальей Алексеевной, урожденной графиней Музиной-Пушкиной. Она бывала в доме ее отца Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, благодаря которому мы обрели ряд ценнейших древнерусских рукописей, в том числе и «Слово о полку Игореве». В его доме на Разгуляе Мария Николаевна принимала участие в праздниках и домашних спектаклях. Иначе было бы трудно объяснить, как «запертая» в деревне молодая женщина могла написать несколько весьма порядочных стихотворений, два больших прозаических сочинения (сказка на французском языке «Лесные близнецы» и повесть «Русская Памела, или Нет правила без исключения») и замечательный по мыслям дневник их с отцом поездки в Санкт-Петербург в 1810 году под названием «Дневная записка для собственной памяти».

Толстой отмечал в писаниях своей матери «правдивость и простоту», которые, как он считал, не были свойственны его отцу. «В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: несравненная, обожаемая, радость моей жизни, неоцененная и т. д. — были самые распространенные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем было неискреннее. Эта черта, хотя и не в сильной степени, видна в письмах отца. Он пишет: “Ma bien douce amie, je ne pense qu’au bonheur d’être auprès toi...”* и т. п. Едва ли это было вполне искренно. Она же пишет в обращении всегда одинаковое: “mon bon ami”**, и в одном из писем прямо говорит: “Le temps me paraît long sans toi, quoiqu’à dire vrai, nous ne jouissons pas beaucoup de ta société quand tu es ici”***, и всегда подписывается одинаково: “ta dévouée Marie”****.

Вторая, более существенная, неточность состоит в том, что Толстой в «Воине и мире» изобразил мать чрезвычай-

* Мой нежнейший друг, я только и думаю, что о счастья быть около тебя (*фр.*).

** Мой добрый друг (*фр.*).

*** Время для меня тянется долго без тебя, хотя, сказать по правде, мы мало наслаждаемся твоим обществом, когда ты здесь (*фр.*).

**** Преданная тебе Мария (*фр.*).

но религиозной девушкой. Между тем, судя по ее дневнику, Мария Николаевна не отличалась особой набожностью и была в этом смысле вполне дочерью своего отца с его религиозным равнодушием. «Николай Сергеевич, — пишет С. Л. Толстой, — не только не был богомолен, но был равнодушен к православию и даже в душе — вольнодумцем... Это следует из подбора оставшихся после него книг и из того, что в Ясной Поляне не осталось никаких следов от какого бы то ни было отношения к православию. Между тем при его богатстве он легко мог построить церковь в Ясной Поляне — на деревне или у себя на усадьбе; он этого не сделал, а строил дома и хозяйственные постройки. Конечно, он исполнял церковные обряды, считая, что так нужно, но, вероятно, относился к ним формально...»

Возможно, Николай Сергеевич даже был масоном. По крайней мере, он явно сочувствовал «вольным каменщикам». Об этом говорит присутствие в его библиотеке старинного масонского песенника 1762 года вместе со статутами масонов*.

Трудно сказать, в какой степени это повлияло на мировоззрение его внука. Масоны Екатерининской эпохи были «вольтерьянцами». Суть же «вольтерьянства» была в отрицании авторитета Церкви и попытке создания новой морали, опирающейся на главенство разума. Всё это близко зрелому Толстому с его критикой Церкви с позиции разума. Но обрядовая сторона масонства, карикатурно изображенная в «Войне и мире», была ему так же чужда, как и религиозные обряды.

Разумным отношением к религии отличалась и дочь князя, если судить по ее дневнику. Девятнадцатилетняя девушка, впервые выехавшая в дальний путь в Санкт-Петербург, она ничего не боится и смотрит на мир открыто и без предрассудков. Заметив по дороге церковные строения, она больше обращает внимание на их внешний вид, нежели испытывает желание молиться. Церковные предания не внушают ей уважения.

«21-го числа отправились мы опять в путь в седьмом часу. Отъехав около 25 верст, увидели мы колодезь, очень хорошо отделанный, и как мы спросили, то нам сказали, что это есть колодезь святой воды и что тут близко часовня, в которой находится явленный образ Казанской Богородицы. Услышав сие, велели мы подъехать к колоде-

* Статут — здесь: устав, собрание правил.

зю, вышли из кареты, выпили несколько воды и пошли пешком до часовни; она очень хорошо построена и хотя в простом вкусе, но вид ее внушает почтение. Мы вошли, приложились к образу, и батюшка поговорил с сторожем, который подтвердил нам предание о явлении сего образа около двух сот лет тому назад. Хотя невероятно, чтоб в столь неотдаленном времени творились еще чудеса, но как народ не может постигать умственного обожания Бога, то такие предания производят в нем большое впечатление».

Это — взгляд просвещенной аристократки, которая строго отличает народные предания, поддерживаемые Церковью, от «умственного» понимания Бога людьми своего круга.

В Петербурге при посещении Александро-Невской лавры она опять же обращает внимание на внешний вид недавно возведенного храма: «Сия церковь чрезвычайной красоты и великолепия; она построена в простом и благородном вкусе». Она не испытывает душевного беспокойства при опоздании на обедню в Исаакиевский собор и радуется, когда во время службы их забирает оттуда бывшая фрейлина Екатерины Анна Петровна Самарина. Но это не значит, что Мария Николаевна была атеисткой. Как и ее отец, она считала Церковь необходимой. И не только для народа, но и для своей семьи.

Среди ее вещей, сохранившихся по сей день, есть рукописный молитвенник и икона с изображением святых, имена которых носили ее сыновья: Николай Чудотворец, Сергей Радонежский, Дмитрий Ростовский и Лев, папа римский. В «Журнале поведения Николеньки», который она вела, занимаясь воспитанием своего любимого старшего Коко, она пишет, что «возила его в церковь приобщать, он там стоял и вел себя очень порядочно для своих лет; и во весь день был мил и послушен». Но мы не найдем в «Журнале» никаких признаков того, чтобы Мария Николаевна воспитывала сына в религиозном духе. Гораздо больше ее волновали проявления блажи (капризов) и трусости — испугался взять в руки жука...

И уж совсем невозможно представить себе, чтобы Марии Николаевне пришла в голову мысль уйти в монастырь, которая нередко посещала Марию Болконскую.

Тем не менее, если говорить о влиянии матери на Толстого, это было прежде всего *мистическое* влияние. Толстой не просто любил, а боготворил мать. После Бога она была

единственной инстанцией, к которой он часто обращался в молитвах и говорил, что «эта молитва всегда помогала».

Тайна матери остается одной из главных загадок духовной биографии Толстого. Образ матери занимал в его душе необъятное место. Создается впечатление, что он как бы «увлажнял» рационализм толстовского понимания религии, которое сводилось к простой мысли: *всё, что находится за пределами нашего разума, для нас не существует*. Следовательно, какой смысл это обсуждать, а тем более слепо в это верить? Если наш разум не способен постичь загробную жизнь с ее адом и раем, то и нечего о них рассуждать! Есть более умопостигаемые вещи — добро, любовь, помощь людям.

Но в отношении матери он делал исключение. Достаточно и того, что он обращался с молитвой к *мертвому человеку* и верил, что это ему помогает. В старости он относился к Марии Николаевне, как совершеннейший ребенок. «Не могу без слез говорить о матери», — пишет в дневнике. «Нынче утром обхожу сад и, как всегда, вспоминаю о матери, о “маменьке”, которую я совсем не помню, но которая остается для меня *святым идеалом*».

Десятого марта 1906 года он пишет: «Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление — желание ласки — любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать, и быть утешаемым. Но кто такое существо, к которому бы я мог прильнуть так? Перебираю всех любимых мною людей — ни один не годится. К кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе. Да, да, маменька, которую я никогда не называл еще, не умея говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, но не холодной, божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня. Всё это безумно, но всё это правда...»

Мария Николаевна потеряла мать и стала полусиротой, когда ей было два года. То же случилось и с ее сыном Львом. Словно предчувствуя, что Лев — ее последний сын, она называла его «*mon petit Benjamin**» (это прозвище Толстой сохранил для главного героя «Детства»). Вениамин по древнееврейски означает «везунчик, счастливчик». В то же время по Библии Вениамин был сыном Иакова, жена ко-

* Мой маленький Вениамин (*фр.*).

торого Рахиль умерла при родах этого мальчика, назвав его Бенони — «сын боли». Толстой любил вспоминать, что вторым любимчиком матери после Коко оказался он, младший.

Непонятно, почему дневник матери был обретен Толстым так поздно, только в 1903 году, спустя 70 с лишним лет после ее смерти. Вероятно, он просто не знал о его существовании. Но показательно, что эти тетради вместе с другими бумагами Марии Николаевны... валялись на чердаке дворни, а выбросил их туда, не придав им никакого значения, сын Толстого Лев Львович, переустраивая северный флигель для себя и своей молодой шведской жены Доры. И только Софья Андреевна обратила внимание на эти тетради. Она и показала их мужу.

Его отношение к ним тоже не вполне понятно. Спустя всего два месяца после обретения этих бумаг часть их Толстой отправил в Публичную библиотеку Санкт-Петербурга, не оговорив условия хранения. Другую часть — письма, «Журнал поведения Николеньки» и окончательный текст дневника — он оставил у себя, потому что в это время по просьбе своего биографа Павла Ивановича Бирюкова работал над «Воспоминаниями». Но в самом начале «Воспоминаний» Толстой пишет, что реальный образ матери не то чтобы совсем его не интересовал, но не являлся главным в его представлениях о ней. Он пишет, что не может вообразить себе ее «как реальное физическое существо» и «отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и всё, что я знаю о ней, всё прекрасно...».

Судя по тому, что нам известно о Марии Николаевне, в ее жизни действительно почти не было темных пятен. Но и духовным идеалом она не была. Скорее можно сказать, что она (возможно, по причине некрасивой внешности) преуспела в умственном и художественном развитии. Но это недостаточный повод, чтобы молиться на нее. В остальном же Мария Николаевна была обычной барышней своего времени. Чего стоит ее романтическая дружба с француженкой Луизой Гениссьен, в которую вылилась «ее женская потребность любви», как осторожно пишет С. Л. Толстой. Эта дружба закончилась скандалом, потому что после смерти отца Мария Николаевна пожелала устроить семейное счастье сестры своей подруги, Марии Гениссьен, и подарила ей часть наследства. Как пишет в дневнике Д. М. Волконский, она «продала подмосковную» и «положила

деньги в ломбард на имя мамзельки». Этому воспротивились ее родственники, был недоволен ее жених Николай Ильич Толстой, но Мария Николаевна проявила настойчивость. Впрочем, после замужества ее чувства к Луизе Генниссѐн охладели.

С. Л. Толстой предполагает, что Мария Николаевна оказала на Льва косвенное религиозное влияние через старшего сына Николая и его фантастическую историю о «зеленой палочке», зарытой в лесу, в том месте, где писатель завещал себя похоронить. На этой палочке будто бы написана тайна человеческого счастья. Толстой дорожил легендой и любил вспоминать о придуманной его братом Николенькой игре в «муравейных братьев». Вероятно, их прототипами были «моравские братья» — чешские протестанты XV века, последователи реформатора Яна Гуса. О них Николенька слышал от матери, которая, как пишет Толстой в «Воспоминаниях», «была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки».

Здесь что-то складывается в сложную мозаику. Массонские увлечения деда, «моравские братья», общий мистицизм Александровской эпохи, в которую воспитывалась Мария Николаевна, ее родственные связи... Ее двоюродный дядя Николай Никитич Трубецкой был известным масоном-розенкрейцером; два его брата, Петр и Юрий, тоже являлись масонами. Ее кузен Николай Николаевич Трубецкой перешел в католичество.

Но это было недостаточное основание, чтобы сделать мать иконой. Во всем этом была какая-то глубокая тайна — загадка мировоззрения Толстого. А может быть (и это вернее всего), ему с детства не хватило теплоты материнской любви. Не случайно в «Детстве» автор удлинит жизнь своей матери. Она умирает, когда главный герой вполне способен осознать эту потерю. И точно так же Толстой воображал жизнь своей маменьки в своих фантазиях до глубокой старости, тем самым продлевая свое детство.

Толстые

На первый взгляд дед писателя по отцовской линии Илья Андреевич Толстой не оказал на внука сколько-нибудь серьезного влияния. Но при этом он послужил прототипом одного из самых симпатичных героев «Войны и ми-

ра» — старого графа Ильи Андреевича Ростова. Дед показан в романе довольно верно. Толстой даже не изменил его имя и отчество.

В «Воспоминаниях» Толстой называет деда «ограниченным», а в разговорах с близкими аттестовал его просто глупым. В конспекте к «Войне и миру» дается такая характеристика «глупому, доброму графу Ростову»:

Имущество расстроенное, большое состояние, небрежность, затеи, непоследовательность, роскошь глупая.

Общественное. Тщеславие, добродушие, уважение к знатым.

Любовное. Жену, детей ровно, богобоязненно и никогда неверности.

Поэтическое. Поэзия грандиозного и добродушного гостеприимства. Не прочь выпить. Дарование к музыке.

Умственное. Глуп, необразован совсем».

«Поэзия грандиозного и добродушного гостеприимства». В конспекте к роману о нем говорится так: «Всех к себе тащит». Илья Андреевич был, выражаясь языком того времени, обыкновенным *мотом*. Он жил на самую широкую ногу, не считаясь со средствами. Супруга Толстого Софья Андреевна писала о нем с чужих слов: «Граф Илья Андреевич вел жизнь крайне роскошную, выписывал стерлядей из Архангельской губернии, посылал мыть бельё в Голландию, держал домашний театр и музыку и прожил всё».

«В имении его Белёвского уезда Полянах, — не Ясной Поляне, но Полянах, — пишет Толстой в «Воспоминаниях», — шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обеды, катанья, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и займы, и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупам, — кончилось тем, что большое имение его жены всё было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был хлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани».

В 1815 году Толстые переехали в Казань, где через неделю случился грандиозный пожар, уничтоживший больше половины города. Никаких других значительных событий за время его губернаторства не было. Поправить состояние на службе ему не удалось, потому что они с женой Пелагеей Николаевной, урожденной Горчаковой, и в Казани продолжали вести тот же образ жизни, но уже с городским размахом. В итоге долг Ильи Андреевича

достиг полумиллиона рублей. Все имения были описаны, а доходы от них стали поступать в Приказ общественного призрения для уплаты кредиторам.

В 1820 году его обвинили в служебных злоупотреблениях. «Дед, — сообщает Толстой в «Воспоминаниях», — как мне рассказывали, не брал взятку, кроме как с откупщика*, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему, но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения».

Это подтверждается и документами. Тщательная ревизия денег, находившихся в распоряжении губернатора, выявила нехватку менее десяти тысяч рублей. Но и это, как считает биограф Толстого Николай Николаевич Гусев, скорее было «следствием не растраты, а общего беспорядка и путаницы». Но даже если Илья Андреевич и растратил или присвоил эти деньги, всё равно эта сумма не шла ни в какое сравнение с тем, за что отдали под суд его преемника на посту губернатора Казани Петра Андреевича Нилова, который в течение двух лет растратил 100 тысяч рублей, принадлежавших купеческим опекам.

Сам Илья Андреевич до суда не дожил. Еще до получения приказа об отставке он сложил полномочия и умер, не успев предоставить никаких объяснений по поводу выдвинутых обвинений.

Существует версия о его насильственной смерти, которую предположил казанский историк Николай Петрович Загоскин. Но, вероятнее всего, он просто не вынес позора, свалившегося на него в 62 года, а кроме того, был морально подавлен тревогой за будущее своей семьи.

И тревожиться ему было о чем... Его единственный сын Николай до женитьбы на Марии Волконской был не просто беден, но настолько опутан долгами скончавшегося родителя, что в 1821 году должен был поступить «смотрительским помощником» в московское военно-сиротское заведение. Для него, уже полковника в отставке, эта должность была, конечно, унижительной. Он согласился на нее, чтобы не быть посаженным в долговую тюрьму, потому что к государственным служащим такая мера не применялась.

Между тем молодость Николая Ильича была почти героической. И Лев Николаевич не погрешил против исти-

* Откуп — система сбора налогов и других государственных доходов, при которой государство передает это право частным лицам (откупщикам) за денежное вознаграждение.

ны, описав своего отца в «Войне и мире» в замечательном образе Николая Ростова.

Единственный сын в семье, он был обожаем родителями, особенно матерью. Кроме него, в доме были две сестры, Александра и Полина, а также дальняя родственница и круглая сирота Танечка Ёргольская. Nicolas воспитывался вполне в духе крепостного времени. В 16 лет «для его здоровья», как пишет Толстой, подростку устроили связь с дворовой девушкой его сестры Александры. «От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот впавший в нищенство брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10, 15 рублей...»

Николай шестилетним мальчиком был зачислен на службу с чином коллежского регистратора, а в 17 лет получил чин губернского секретаря — XII класса по Табели о рангах. Это было в 1811 году. Но на следующий год, накануне вторжения Наполеона в Россию, он, «несмотря на страх и нежелание родителей», как пишет Толстой в «Воспоминаниях», принял решение поступить на военную службу. Хотя в то время еще действовал мирный договор с Францией, заключенный в 1807 году в Тильзите, в Москве уже ходили слухи о неизбежности войны...

Так случилось, что он не участвовал ни в одном сражении в пределах России. Но в Заграничном походе 1813—1814 годов Николай Ильич проявил себя отважно. Он был при всех крупных сражениях, состоя адъютантом генерала Андрея Ивановича Горчакова, троюродного брата своей матери. За отличие «при удержании неприятеля под городом Дрезденом и при переправе через реку Эльбу» получил чин поручика. За участие в Битве народов под Лейпцигом был возведен в штабс-ротмистры. На обратном пути из Петербурга, куда он был отправлен с депешей, его захватили в плен... Русскую армию он встретил уже в Париже.

Любопытная деталь из семейных преданий, рисующая отношение к пленным русским офицерам того времени: в парижском плену Н. И. Толстой жил, ни в чем не нуждаясь, благодаря тому, что его денщик спрятал в сапоге всё золото барина.

Отношение Николая Ильича к войне было лишено пафоса и героики. Его письма с фронта предвосхищают

взгляды его сына на войну как на несчастье человеческое. В 1812 году он сообщает в письме родным: «Не бывши еще ни разу в сражении и не имевши надежды в нем скоро быть, я видел всё то, что война имеет ужасное; я видел места, верст на десять засеянные телами; вы не можете представить, какое их множество на дороге от Смоленска...» «Мое военное настроение очень ослабело, — пишет он домой через год, — истребление человеческого рода уже не так занимает меня, и я думаю о счастье жить в безвестности с милой женой и быть окруженным детьми мал мала меньше».

В 1819 году Н. И. Толстой вышел в отставку в чине полковника. По-видимому, военная служба серьезно подорвала его здоровье. По свидетельству главного лекаря Казанского военного госпиталя, он был «болен слабостию груди со всеми ясными признаками к чахотке, простудным кашлем, сопряженным с кровохарканием, и застарелую простудною ломотою во всех членах...».

После смерти отца Николай Ильич, как пишет в «Воспоминаниях» его сын, остался «с наследством, которое не стоило всех долгов, и с старой, привыкшей к роскоши матерью...». Женитьба на Марии Николаевне Волконской была вынужденным шагом как с его, так и с ее стороны. В 1822 году, когда состоялась их свадьба, Мария Николаевна приблизилась к своему 32-летию. Это был, выражаясь современным языком, ее «последний шанс». К тому же, несмотря на «мужское» воспитание, управляться с наследством отца она не умела. А вот Николай Ильич, в отличие от своего родителя, оказался хорошим помещиком. Он достроил большой дом в Ясной Поляне, взял на себя все заботы по хозяйству и вел бесконечные дела по долгам своего отца, в результате выкупив материнское имение Никольское-Вяземское в Чернском уезде Тульской губернии. Выкупил — на деньги жены. Но недаром в «Войне и мире» встречается фраза, что Николай Ростов «жертвует собой». Пелагея Николаевна считала невестку недостойной своего сына, при этом продолжала вести в Ясной Поляне тот же барский образ жизни, который вела при муже.

Любили ли Николай Ильич и Мария Николаевна друг друга — большой вопрос. Всё дело решили их родственники. До помолвки они даже не были знакомы, хотя Мария Николаевна и приходилась своему жениху троюродной сестрой. Однако мнение Льва Николаевича, что его мать любила его отца «больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него», едва ли справедливо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru